

КОНСТАНТИН ШАКАРЯН

“ЕСТЬ ВЫСШАЯ ДОЛЯ...”

Слово и путь Глеба Горбовского

*Люблю свернуть с дороги...
Но не сверну
с пути.*

Г. Горбовский

“Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство *пути*”, — писал Блок, выделяя курсивом слово “путь”. Знаменитые эти слова не тускнеют от зацитированности, прочно заняв своё место в ряду вечных, путеводных высказываний в русской литературе. Неслучайна следующая за ними блоковская оговорка: “Эту истину, слишком известную, следует напоминать постоянно, и особенно в наше время”. И — особенно — в наше время. . .

“Только наличием пути, — продолжает Блок, — определяется внутренний “такт” писателя, его *ритм*”.

Попытаемся, перефразируя, продолжить эту мысль Блока, по-своему раскрыть её в контексте разговора о поэзии, пути поэта.

У истинного поэта всегда есть тема — то, что тесно связано с понятием голоса поэта, его интонации. С годами она может видоизменяться, ветвиться, обрастать новыми смыслами и гранями. Но — каждое стихотворение поэта в той или иной степени относится к его теме, по-новому раскрывает и утверждает её, так же как всякий поступок человека лепит и создаёт его облик и судьбу. Иначе говоря, у поэта истинного не бывает стихов *случайных*, не оплаченных духовным поиском и, по Блоку, собственным *ритмом*. Неудачи же, провалы, поиски без открытий — естественны и неизбежны, и они в таком контексте так же неслучайны, как неслучайны в дыхании, посреди равномерных вдохов и выдохов, хрип или кашель. Здесь всё — живо, всё — искренно до откровенности, всё — горячо свидетельствует о движении, поиске, победе или поражении и, в конечном итоге, — о *пути*.

Поэзия Глеба Горбовского пронизана чувством пути, весь материк созданного им в стихах и прозе и есть огромный путь, пройденный художником, но прежде всего — человеком. О чём бы ни писал поэт, к каким бы образам и смыслам ни обращался — будь то любовное послание или цикл, посвящённый великим деятелям искусства прошлого, или так называемые “стихи о природе”, пейзажные зарисовки, либо же бунтующие стихи-взрывы ранних

лет, — во всём бьётся беспокойная жилка поиска духовной опоры, “мировоззренческой почвы под ногами” (по слову самого поэта), Веры. И всё ведо́мо любовью — к слову, к земле, к человеку...

Творчество Горбовского бесконечно многообразно, многопланово и текуче. В одной, пусть большой статье нет возможности охватить всё основное, сделанное поэтом, все те черты его поэтического облика, каждая из которых заслуживает отдельного большого разговора. Но попытаемся проследить путь поэта, пройти с ним по главным вехам этого пути, видя стихи — зарубками на деревьях-годах, тянущихся долгой, более чем полувекковой дорогой жизни и поэзии... Попробуем размотать клубок судьбы поэта, взявшись за главную нить — нить поэзии, — и пройти лабиринтами времени, “в плену” у которого находится он, заложник вечности.

...И вновь обратимся к блоковским “запискам современника”:

“Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души. Потому путь развития может представляться прямым только в перспективе, следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности вследствие постоянных остановок и искривлений”.

Пусть читатель не удивляется тому, что, говоря об одном этапе пути поэта, я нередко буду цитировать, сравнивая, строки из более позднего или раннего периодов его творчества. Обрати внимание на “остановки и искривления” в разговоре о стихах порой бывает важнее, нежели попросту очертить главную траекторию пути поэта, выбрав для этого несколько наиболее характерных тем и образов. В том-то и дело, что “подземный рост души” с трудом поддаётся исследовательскому анализу и “выпрямлению”: чувство пути ведёт поэта за собой, но не по прямой, а нередко — зигзагами, неожиданными поворотами, иногда — кругами. Суть в текучести, в перетекании одного в другое, в своевольном бурлении стиха. В таком разговоре не избежать и обильного цитирования: цитировать стихи, прочитывать их одно за другим — это и значит идти с поэтом по его времени — его вечности — его пути.

1

В стихах Горбовского, при абсолютной непридуманности и подлинности авторского “я”, выступают словно бы два “героя” — маленький человек, “человечек” и — одновременно — некий сверхчеловек; на первый взгляд, две противоположности, но именно в их слиянии выковывался образ самого Горбовского, который, по собственному признанию, “не родился, а возник — как возникают снегопады, пожары, ветры и грома...” При этом он же, возникший подобно некой стихии, писал:

*Я тихий карлик из дупла,
лесовичок ночной.
Я никому не сделал зла,
но недоволен мной...*

“Человечек счастья просит”, “И вот — пылинка, я мчусь в неведомую даль...” — такие строки характерны для раннего Горбовского как своей наивно-проказливой интонацией, так и словарно-смысловой составляющей. Впрочем, “уменьшительные” суффиксы, как неотъемлемая часть его поэтической речи, нигде не исчезнут и в поздние годы, разве что став употребляться несколько реже и как бы “осмысленней” (скажем, первая строка в стихотворении о дочери “Научился ходить человечек” — буквальна и не несёт в себе более никакой ассоциативной нагрузки). В ранних же стихах “человечек” — образ вроде бы и живого, и “глазастого”, но как бы не до конца нашедшего себя бедолаги, которому только и дела, что оглядываться да удивляться. Вот яркий образец речи такого “человечка”:

*Разворошить, как муравейник,
весь мир загадок и задач...
Почто в кармане нету денег?
Когда казнит себя палач?
Кому любимая дороже,
Себе ли, мужу или мне?
А крокодилы ходят лёжа,
поди узнай — по чьей вине?..
...Кто муравьём таскает тяжесть,
не пожелав владыкой стать?
Разворошить. Разбудоражить!
Сесть на пенёк и — наблюдать.*

После повзрослевший “человечек” уже из иных лет окликнет самого себя словно с того же памятного пенька: “Кто я — в разливах соснового шума — // старая шляпа? Пенёк на пеньке?..”

Есть смысл в параллели с шукшинским “чудиком” — образом, кочевавшим у Шукшина из рассказа в рассказ и раскрывающимся всё новыми живыми и трогательными гранями. Но если у Шукшина, прозаика, всё это — схожие в одном (условно — в “странности”) совершенно разные герои, то у поэта Горбовского — один и тот же “человечек” — он сам, проявляющийся всегда по-разному.

Такой забавный и чудной, “лесовичок” этот тем не менее не так-то и прост:

*А человек — обугленный пенёк —
торчал трагично и не без сознания,
как фантастично был он одинок,
заглядывая в сердце мирозданья...*

И как же этот “пенёк” (“обугленный”!) заглядывал “в сердце мирозданья”? На это мог бы ответить другой “голос” раннего Горбовского, сообщавший:

*С миру по нитке, и стал я богатым:
ветер отдал мне свои настроенья,
заняло сердце у грома раскаты,
а у пернатых — вечернее пенье.
Хлебом — деревня, работой — дорога,
гневом — война, а поэзией — чудо —
все поделились, кто мало, кто много...
Всё остальное — я сам раздобуду.*

Поэт не вещает, не гремит — а именно сообщает, по-дружески и как бы между делом давая знать о себе. Благодарное слияние с природой, со всем живым, большой охват и широко распахнутые для объятия руки. Ни капли ривсовки, игры, ни единого “красного словца” — всё как на духу.

Так кто же это? Тот ли тихий лесовичок из дупла? Человечек? Он самый. Вернее — тот, кто в нём всегда находился и всегда неожиданно проговаривался...

А чем, к примеру, не монолог маленького человека — уже и в устоявшемся литературном смысле этого определения — такие восемь строк:

*На лихой тачанке
я не колесил.
Не горел я в танке,
ромбы не носил.*

*Не взлетал в ракете
утром, по росе...
Просто — жил на свете,
мучился, как все.*

“Просто жил на свете...” Сказано просто и доверительно. А ведь за одним только словом “мучился” стоит целая жуткая биография: здесь и война, и оккупация, и искалеченное детство, и исправительная колония, и — затем — пьянство, ставшее болезнью, и тяжёлое продолжительное его лечение...

Но и во всём этом Горбовский, как бы “не выходя” из народа, не хочет никакого обособления своей судьбы от судеб других — не менее, а то и более тяжких: “мучился, как все”.

* * *

Обособляется он по-иному и в разговоре о другом — и здесь, кажется, уместно даже озвучить ещё одну классическую тему: “поэт и толпа”. Вернее, по Горбовскому, душа и бездуховность. Проявление души — в живом слове:

*Начертал живое слово —
разве мёртвые поймут?*

Тот же мотив звучит в более позднем стихотворении: “Зелёные лица сосудов, // одетых с утра в пиджаки, // не чувят ни чуда, ни зуда, // когда им читаешь стихи”. Слово — как средоточие всего светлого и духовного — в противопоставлении грубому телесному, переходящему в животное:

*Вы ему — о Шекспире,
а он вам — по морде.
Вы — на слове, на лире,
он — на сексе, на спорте!*

“Не стану рассказывать вкусные сказки // про виски-сосиски, сыры и колбаски. // Я лучше уеду от вас, оглоедов, // в республику мёртвых, но дивных поэтов”. Уедет, потому что знает: какие бы “ужасные вещи” ни происходили с ним, какие бы “клыкастые пьяные бреды” ни угнетали —

А мне ведь от Бога подарок обещан...

Всё отчётливей выговаривается неприятие всего, что не от Бога, не от сердца, не от неба, но — от человека, точнее — всего того человеческого, ничто из которого не чуждо как самому поэту, так и тем, от кого (в каком-то смысле — и от себя самого) он отчаянно отмахивается: “До ваших делишек — какое мне дело!”

*Разве мне это нужно:
читать на заборах афиши,
в парикмахерских щупать
подшивку истлевших газет?
Я рождён подниматься
до птичьего неба и выше!
Я обязан встречать
на вокзалах планеты рассвет!..*

Позднее, на новом витке пути, “низов и выси связь” придёт в равновесие, гармонизируется — когда доведётся поэту узреть “в пылинке — тело мира” и сердцем обнять “каждую малость земную”... Поэтическое зрение сфокусируется на “кирпичиках бытия” — и не будет в этом ничего общего с ранним “даровским методом”, о котором ниже. Оно ещё предстоит, прозревание малого в большом, мгновенного — в вечном. И понимание того, что “всякая радость достойна прощенья, потому что за ней — увядания бремя”. Потребность взглянуться и вдуматься во всё, “всё понять и простить, как бы ни было туго...”

Но всё это – потом, а пока нужно очертить границы своего мира, не впуская в него наседающего со всех сторон быта, “радио-теле-белиберды”. С каким болящим рыком обращается поэт к одолеваящим его “бытовым нахлобучкам”, защищая от них свой мир, свою сказку:

*Врёте! Я жил бесподобно! Богато!
Небо в моих голубело палатах.
Пол мой сверкал непрохоженным снегом,
ложе дышало некошеной негой...*

Об этом и стихотворение “Поединок”, ярчайшее свидетельство утверждения поэтического мира молодого Горбовского – посредством противостояния всему, что лезет и завлекает извне:

*Мне говорят: “Бери топор!
Пойдём рубить кого попало!”
А я багряных помидор
хочу во что бы то ни стало.*

*Мне предлагают: “На? деньгу,
купи жену, купи машину!”
А я кричу: “Кукареку!” —
поскольку так душа решила.*

*...Зовут, скулят... Устали звать.
Молчат угрюмою гурьбою.
А я хочу поцеловать
вот это небо голубое!*

Ни одним движением своей души поэт не намерен поступаться в угоду “говорящим” и “предлагающим” всех мастей – “поскольку так душа решила”. В другом стихотворении Горбовский бросает гипотетическому приятелю:

*У тебя — своя машина,
у меня — своя душа...*

Разграничивающая черта проведена. Но не слишком ли резко? Все мы люди-“человечки”, все “мчим в мечты” – кому “своя машина”, кому ещё что-то... “Ты прости, что так небрежно // обращаюсь я с тобой”, – как бы оправдываясь, завершает поэт свою отповедь приятелю-“вещисту”. Да, ему нужно иное “свечение глаз”, “звучанье рта”, особая “ушей настороженность” – таков, по Горбовскому, идеальный портрет живого лица. Но если он не видит всего этого во встречном лице – в пылу наговорив лишнего, сам же потом и повинится: “Ты прости...”

И в этой тёплой непосредственности Горбовский – как ранний, так и поздний – узнаваем, как никто.

* * *

“Зову человека” – эти слова, которыми начинается одно из стихотворений 60-х годов, могут быть вынесены эпиграфом к значительной части ранней лирики Глеба Горбовского. Тут и там возникают в ней обращения к человеку, к людям, близким и дальним...

*Приходите ко мне ночевать...
.....
Постучите мне в окно
Кто-нибудь из Ленинграда!
.....
Заходите, кто хочет...*

Выше говорилось о противопоставлении, но чаще — куда чаще — поэт сам ступает навстречу человеку, современнику, частичке своего народа и времени:

*Остановись, идущий мимо,
и посмотри: не узнаёшь?
...Я твой сосед по переходу
из бытия в иную даль.
Мы — тело нашего народа,
его глаза, его печаль.*

Порой Горбовский делает своим искомым героем “дурачка” — зеркально увиденного “человечка”, юродивого, ломкая мысль которого порой ближе подходит к “истине святой”, чем иные думы и прозренья современников поэта и его самого:

*В любом селении, пожалуй,
есть дурачок — свой странный малый.*

*...Он сядет где-нибудь в сторонке
с лицом Сократа и молчит...
Из неказистой одежки,
как пень, головушка торчит.
А иногда такое выдаст,
такое вдруг родит словцо —
как будто он сквозь землю видит
святое истины лицо!*

И, разумеется, учитывая всё вышесказанное, было бы ошибочно думать, что всё противопоставление “живого” и “мёртвого” у Горбовского связано со словом — пусть и стихотворным. Иногда и противопоставления никакого не надобно — перед лицом чего-то общеразрушительного. Так в поэзии Горбовского появляется образ чумы:

*Чума была не в чемоданах
из Бангладеш,
Она была не в дальних странах —
что ей рубеж?
Она была в молчанье сытом
отёчных глаз...
Так равнодушие визитом
коснулось нас.*

От горечи даже такой жизнелюбивый, вечно верящий “в то, что будет — лучше” поэт сникает. До противопоставлений ли ему — тому, кто всю жизнь “мучился, как все”? Так и теперь, уж если видится поэту равнодушие вирусом, разрастающимся до чумы бездушия, то и сам он принимает свою долю ответственности — “сражённости” им:

*Чума бездушия свой вирус
роняет в кровь...
И я из лап её не вырвусь,
не вспыхну вновь...*

“И всего тяжелее — раздетое сердце моё”, — напишет Горбовский о себе, вмести в одну строку всю суть своего творчества, своей поэзии — если не поэзии вообще. Раздетое сердце открыто всему вокруг, оно может всё принять, на всё откликнуться; оно живёт “прозрачной отдачей и жаждой живых”, оно полнится радостью (“И всё радуюсь... И радую”) и болью — так, что и не разберёшь уже, где свои боль и радость, а где — чужие: “Чужая, а жжёт, как своя!”

И наливается сердце тяжестью — сколь много оно вместило, на сколькое отозвалось, скольких утешило и порадовало! “Стучи, моё сердце, работай в три смены...” — с улыбкой даст своему сердцу зарок поэт в более поздние

годы. Принимать всё *близко к сердцу* – такова, по Горбовскому, “высшая доля” – доля поэта.

“Раздетое сердце может постичь особое, нутряное, стихийное родство с природой, – пишет критик Н. Банк в книге “Глеб Горбовский. Портрет современника”. – Человек в лирике Горбовского – не просто органическая часть природы, он становится ею, исчезает в ней, превращаясь то в “мелкий дождик”, то во “взъерошенную птицу”, как знать – не птицей ли он рождён? Самоуглубление помогает представить и это...”

Так, иногда кажется, что Горбовскому тесно в “оболочечке” своей – сам он озвучил это чувство в одном из лучших стихотворений ранней поры:

*Наверно, я задуман был иначе:
лохматым кедром, серым валуном,
не человеком...
Вот стою и плачу.
И никакого смысла в остальном.*

И дело тут не в брезжущей отсылке к другому природно-нутряному поэту – Клюеву (“Мы – валуны, седые кедры, // лесных ключей и сосен звон”), но в органичном взаимодействии с природой, в ощущении себя не просто частицей родного пейзажа, но живым его продолжением:

*Да это в каком-то другом измеренье
я шёл при ушах, при ногах и при зренье.
И, кажется, только застынь на мгновенье, —
немедленно сам
превратишься в растение!*

“Кажется” это не только поэту, но и читателю, который сам едва не превращается в нечто дикорастущее – там, где “в слиянии, пении, рёве, угаре // вороны, медведи и прочие твари” населяют страницы книг, а “душа и клён” жмут друг другу “косые сучья”. В такой природной атмосфере стиха сам с охотой перейдёшь в разряд “прочих тварей”, дабы лучше прочувствовать “рёв” и “угар” новоявленного поэтического мира. Но читатель, побыв с автором на его страницах, подышав с ним одним воздухом, вернётся в свою колею. А что поэт? В следующей книжке он добросовестно, как и обещал, “превратившись в растение”, теперь уже без бывшего исступлённого восторга размышляет над таким своим новым положением:

*Мне надоело быть растением,
Есть кислород и соки пить...*

Человек – он же “человечек”, растение, лохматый кедр и серый валун – поэт, ведающий о своей богоданной слиянности с родной природой; знающий не только то, что ему когда-нибудь придётся заночевать “на уютном кладбище России”, но верящий в неизбежное прорастание своё из земли – новой жизнью:

*А потом я встану, но не я,
и опять возрадуюсь погоде,
и моя весёлость — не моя —
растворится музыкой в народе.*

* * *

Кого-то может удивить в изображении ранней поэзии Глеба Горбовского упор на, казалось бы, не самые заметные и яркие черты в ней – ведь в первую очередь Горбовский прославился как поэт отчаянного протеста, мрачного колорита, а порой и подчёркнуто саркастического изображения действительности.

“Всё было, всё было... И вдруг осенило!” Если представить эту строку из позднего стихотворения Горбовского своего рода конспектом его пути — наиболее сжатым и беглым, — можно сказать, что обычно концентрируют внимание на первой её части (“Всё было, всё было...”), нисколько не заботясь о том, какое она получила развитие и разрешение в контексте всего творчества поэта. “И вдруг осенило!” — это и есть феномен пути, залог неслучайности исканий и потерь.

Но если даже говорить об одних только ранних стихах Горбовского, порой, по его собственному признанию, “как губка, напитанных винными парами и невинными семантическими шалостями”, — можно поразиться тому, сколько раз творчески “осеяло” поэта с самых ранних лет, какие находил он ёмкие образы и краски, какие запасы свежести открывал в языке и звуке — нисколько, кажется, не задумываясь об этом, не прибегая к каким-либо формальным и проч. ухищрениям. Ранние стихи Горбовского — горячий, неостановимый поток, кипучий источник: действительность здесь оборачивается гротеском, радость перемешана с отчаянием, бытовые, житейские ситуации порой предстают зловещей фантазмагорией... Вспомним одно из самых известных таких стихотворений “поэта из коммуналки”:

*На кухню вызвали поэта!
И подбоченились жильцы.
Соседка пепельного цвета
взяла поэта под уздцы.
Затем на спину взгромоздилась,
затем — пришпорила бока!
Отцы-самцы заходят с тыла,
как безысходная тоска...*

Трагикомичный сюр начинается уже с третьей строки, чтобы затем разгореться до картин откровенно пугающих и жутких:

*Поэт отрезал руку бодро —
свою... Отдал соседке — жри!
Оттяпал ногу по колено
и протянул отцу-самцу.
Затем чугунно-вдохновенно
себя ударил по лицу.
И голова тугим арбузом
упала в мерзкое ведро...*

Но даже из таких сюжетов есть выход — сперва к исключению из правил (несъеденное сердце!), а затем и к неожиданному, как бы взмывающему над страшными реалиями стиха обобщению:

*Жильцы ушли с набитым пузом.
Их богатырское нутро
не поглотило только красный,
расплавленный комок в груди...
О, как прекрасно-безобразно
маячит слава впереди!*

Слава... Мечтал ли о ней Горбовский, как всякий сочинитель, чувствующий в себе дерзание и силу? Горбовский, шутивно писавший ещё в начале пути:

*Жаждет душенька отравы,
а чего желает друг?
Из вулкана — стопку лавы?
Или — славы пышный пук?*

Горбовский, в поздние годы с грустью рассуждавший о “соблазне неокрепшего духа молодых сочинителей прелестью славы, не ведавших, что приставка “тще” перед этим величественным словом неизбежна”. И добавлявший,

что, будь у него такая возможность, жизнь свою он прожил бы заново — “милосерднее, терпимее к соседям по судьбе... И чаще — на свету смирения, нежели на ветру тщеславия”. И такую новую жизнь — в поэзии — он действительно прожил. Но до этого, “у истоков вращения, на первом кругу”, предстояло сквозь многое пройти, многое преодолеть — в себе и вокруг, — в том числе и соблазны славой, на позывы которой так легко стремится молодость... Слава — в молодёжном Ленинграде 1950-х, где Горбовский, по многим свидетельствам, считался первым поэтом, открывая собой блистательный ленинградский ряд (Бродский, Кушнер, Соснора и др.). Слава — в литературных объединениях Д. Дара и Г. Семёнова, где молодой Горбовский сразу становился “поэтическим лидером” (А. Городницкий). Слава... Впрочем, всё чаще поэту приходилось рассчитывать с ней весьма дорогой ценой: в то время как его четвертую книгу стихов “Тишина”, объявленную “патологическим явлением в литературе”, запретив, изымали отовсюду — и, с другой стороны, повсюду искали, перенимали друг у друга, продавали втридорога на чёрном рынке и т. п., — поэт попадает в клинику от перегрева нервов и всяческих душевных “перегрузок”. Затем, уже в безвременье 1990-х годов, когда предстояло выбрать между славой, премиями и “литпроцессом”, с одной стороны, и отстаиванием правды своей боли — с другой, выбор был сделан бесповоротно и навсегда. Горбовский щедро рассчитался со славой: ни больше ни меньше — своим литературным авторитетом и репутацией, став в иных, довольно многочисленных и влиятельных, литкругах поэтом замалчиваемым, фактически неупоминаемым. “Литературными премиями — типа “Поэта” или Государственной — его демонстративно обносят. Литературная критика <...> делает вид, что такого поэта нет, а по большому счёту, может быть, никогда и не было”, — с горечью констатировал уже в новом веке Виктор Топоров. Но не это, разумеется, главное (и даже сколько-нибудь важное) в пути поэта, уже шагнувшего в вечность: между словом и славой Горбовский выбрал первое — и всей жизнью своей возвысил Слово до заглавной буквы.

“Всё возложено мной на этот алтарь, — сказано поэтом в конце пути. — Всё — до последнего вздоха”.

2

Раннего Горбовского можно поделить на несколько условных этапов развития: первый, “самый ранний” Глеб — ученик писателя-сказочника Давида Дара, руководившего литкружком “Голос юности” в Ленинграде. Стихотельческая концепция Дара, по словам его бывшего ученика, была такова:

“Дар... заставляет меня фокусировать словесное зрение на “кирпичиках бытия”, на отдельных представителях предметного мира. Он публично проклял, предал анафеме все наши литературные рассуждения о любви, патриотизме, справедливости, о мире и войне, неважно о чём, важно, что рассуждения, словоблудие, пресловутую риторичку, веками поносимую умозрительность <...> Главное — чтобы резко, контрастно, выпукло, экспрессивно. И — кратко. <...> Чтобы словом, как кулаком по морде! — тоже его пожелание”.

Что-что, а этот последний завет своего учителя Горбовский исполнял на протяжении всей жизни — просто потому, что “кулак” сей был в природе его дарования.

*Русским словом — по морде,
по болванке лица!..*

— скажет поэт уже в стихах 60-х. Вырваться же, выламываться из той “первой” своей манеры, как справедливо отметил в своей статье “Похищение Прозерпины Плутоним” В. Британишский, он начал уже в середине 1950-х, написав к тому времени такие ярко выраженные “горбовские” стихи, как: “На уроке анатомии”, “Мало толку в пейзажах...” и др. Тогда же он начал посещать литературное объединение при Горном институте, которое вёл замечательный лирик, учитель не одного поколения ленинградских поэтов Глеб Сергеевич Семёнов. Горняцкое Лито посещали Леонид Агеев и Владимир Британишский, Олег Тарутин и Александр Городницкий — эти столь непохожие друг

на друга поэты и составляли ядро Лито, гордо именуя себя рядовыми “глеб-гвардии семёновского полка”. Затем в ряды “горняков” влились Александр Кушнер, Виктор Соснора, начинавший со стихов Андрей Битов, Нина Королёва... У Семёнова, как вспоминал Горбовский, “занимались <...> поисками в поэзии себя, личной неповторимости, а также поисками в себе величия Мира. <...> В Горном, выражаясь опять-таки специфически, “обогащалась” словесная начинка лирических опытов”. Недаром спустя много лет после посещения Лито, будучи известным поэтом, Горбовский резюмировал: “Влияние этого кружка на мою конкретную судьбу — неоспоримо, неизгладимо, незабвенно. И весьма благотворно”.

Возвращаясь же к басенной основе ранних стихов Горбовского, хочется вновь дать слово ему:

“В моей тогдашней тетрадке стали появляться стихи-предметы, стихи-запчасти, стихи-существа...:

“Зеркало”, “Телефонная будка”, “Почтовый ящик”, “Комар”, “Муха”, “Ёрш”, “Ослик на Невском”...”

Ряд легко продолжить, тем более что многие стихи были собраны в циклы “Говорящие твари” (“Голуби”, “Ишак”, “Скорпион”, “Воробей”) и “Говорящие предметы” (“Две книги”, “Спички”, “Фотокарточка”, “Будильник”, “Ботинки” и др.). И многоточие, с которого начинается предпоследняя строка многих из этих стихотворений Горбовского середины 50-х, говорит само за себя. В качестве примера — малоизвестное и почти нигде не печатавшееся стихотворение “Две книги”:

*Вся в коленкоре, как дама в шёлке,
книга стояла на книжной полке,
но заросла — что травую сорной —
пылью чёрной.
Рядом — другая книга,
в лохмотьях.
Не дорожила бумажной плотью,
потом людским пропитала строчки —
слова и точки.
...Часто ненужное
с нужным — без толку
мы на одну помещаем полку!*

Впрочем, тут нужно сказать, что почти все стихи этого периода были “печатны”, проходимы. То, что в первую книгу Горбовского “Поиски тепла” вошли немногие из этих “предметов”, говорит лишь о внутренней логике книги — как её видел редактор Игорь Кузьмичёв. Сам он рассказывал впоследствии: “Когда я редактировал первую книгу Глеба Горбовского, его жена привезла мне с Сахалина наволочку со стихами, просто ворох неизвестно чего. Надо было из этого вороха сложить книгу. Последующие книги я уже складывал вместе с ним”.

Добавим: многое из “неизвестно чего” так и оставалось неизвестным широкому читателю и на долгие годы ложилось в стол. Но тот же Кузьмичёв делал всё, что мог, для того чтобы книги его авторов выходили максимально “горбовскими”, “кушнеровскими” и т. д. Многие стихи, как вспоминали впоследствии работавшие с ним авторы, Кузьмичёв попросту брал на себя смелость печатать — и смелость эта оправдывала себя, окупалась с лихвой; не говоря уж о том, что у целого ряда ленинградских поэтов есть стихи-посвящения И. Кузьмичёву... Случай нечастый, почти уникальный. Горбовский посвятил своему бессменному редактору два стихотворения — в 1960-х, и в 1980-х гг.

Первые три книги Горбовского — “Поиски тепла” (1960), “Спасибо, Земля” (1964), “Косые сучья” (1966) — были выпущены в ленинградском отделении издательства “Советский писатель” под редакцией И. Кузьмичёва. Книги были хороши и по составу, и по оформлению (в частности, вторую книжку иллюстрировал художник Михаил Кулаков). По “Поискам тепла” в 1963 году молодого ленинградского поэта приняли в ССП. Более того, книги были благосклонно встречены критикой, уже на первую махонькую книжицу (два печатных листа,

тираж – 2500 экз.) появилось несколько рецензий, в том числе добрые напутственные слова поэта Евгения Винокурова.

В первой книжке преобладали стихи с рабочей тематикой, и среди них порой попадались неудачные, излишне декларативные строчки – что, впрочем, не отменяло ни цепкости взгляда молодого поэта, ни теплоты в обращении с темой, образом, самим словом. А именно она, такая неподдельная теплота, и убеждает, рождая ответное тепло в читателе. Иной раз и декларативность перерастала – то в удачное обобщение, а то и в тонкую афористичность: “Маленьких искусств не существует”.

Были здесь и удачи безусловные – стихи kloкочущего звучания, горячего дыхания, в высшей степени характерные для молодого Горбовского (большинство таких стихов, увы, долгое время не могло пройти сквозь цензурные препоны):

*...Я режу ели на болванки,
на ароматные куски,
я пью Амур посредством банки
из-под томата и трески.
Лижу созревшие мозоли
сухим листочком языка
и обрастаю слоем соли
на долю сотую вершка.
Я спину деревом утюжу,
я брею хвойные стволы.
Затем большой, пудовый ужин
пилю зубами в две пилы.
Тряся кровать, храпя и воя,
я сплю в брезентовом дворце,
я сплю, как дерево большое,
с зелёным шумом на лице.*

Нежность Горбовского-лирика высказывалась то в чеканных, то в трогательно-неуклюжих строфах, но одно было неизменно: “тепло” поэт искал во всём: в отношении к женщине, к работе, ко всему живому... Таков был редакторский замысел книжки. И, как было сказано, поэт сам излучал тепло – каждой своей строкой. Таково было дарование Горбовского. Всё, как видим, сошлось довольно удачно. Одна беда – судя по книжке, молодой и покуда не известный широкому читателю автор мог показаться ещё только делающим свои первые уверенные (а подчас и робкие) шаги в поэзии. Между тем Горбовский к тому времени был уже сложившимся поэтом, за которым числился ряд стихов и поэм, давно уже составлявших гордость не только автора “Поисков тепла”, но и всего поэтического Ленинграда.

Неслучайно было проницательное замечание одного из рецензентов:

“Первая книга Глеба Горбовского получилась несколько легковесной и в то же время многообещающей. Она явно ниже возможностей автора (подчёркнуто мной. – **К. Ш.**) и позволяет надеяться, что его вторая книга будет весомой, значительной и разноплановой”.

Такую надежду выражал в своей статье “Новый голос” поэт Игорь Михайлов. И надежда эта с каждой новой книгой оправдывалась всё больше.

* * *

Во второй книге “Спасибо, Земля” с первой страницы читаем:

*Я знаю, зачем
и дышу я, и ем,
зачем я решаю
сплетенья проблем,
зачем не накину на шею петлю,
зачем ненавижу,
не вижу,
люблю...*

*И если ослепну и вглубь я и вширь,
есть разум —
единственный мой поводырь.
И если оглохну от бед и утрат,
в груди моей — вечный
сердечный набат!*

“Где скрывался источник такого драматизма? — писал уже упоминавшийся И. Кузьмичёв в статье “Право на себя”. — Его нельзя обнаружить, не вспомнив о детстве поэта: оно оказалось несправедливо кратким. Горбовскому не исполнилось и десяти лет, когда грянула Отечественная война, и он, ленинградский мальчишка из семьи школьных учителей, внезапно попал на Псковщине в немецкую оккупацию, разом потеряв всё: и родительский кров, и любимый Васильевский остров, и самое право сознавать себя хозяином на родной земле. Ему суждено было воочию увидеть смерть, голод, поругание, и зловещий лик войны навсегда запечатлелся в его детском сердце и в памяти”.

*Война меня кормила из помойки,
пороешься — и что-нибудь найдёшь.
Как серенькая мышка-землеройка,
как некогда пронырливый Гаврош...*

Тема войны, беря начало с 1960-х гг., с книги “Спасибо, Земля”, занимает всё более осязаемое место в творчестве Горбовского. “Сердечный набат” — вот что отличает поэта во всём, в прикосновении к военной теме — в особенности.

В первых книгах Горбовского рабочие мотивы переплетались с дорожными ритмами. Гимн работе поэт складывает из неприметных (точнее — непримечательных) деталей — легко и прочно объединяя большое с малым, надёжно заземляя высокие слова и обобщения простыми бытовыми штрихами:

*...Торжественно обрушился сапог
с дощатых нар,
оберегавший ногу.
Здесь всё священно.
Человек есть бог!
И эти нары — часть его чертога.
Здесь я постиг
всю царственность труда,
его величье,
врезанное в лица.
...А завтра солнце
встанет, как всегда,
и будет человечеству
молиться!*

Нередко с работой соседствует дорога. Лирический герой Горбовского верной тенью сопровождает поэта на всех его путях — всё новыми и новыми стихами:

*В себя взглянуть пора: стихами
весь пройденный окинуть путь!*

“В таёжной будке”, “Якутские пятистишия”, верхоянский цикл “Вольные сонеты”... Здесь сказались впечатления от различных поездок, и в частности — от геологических экспедиций, в которые Горбовский не раз вливался с большой охотой. В дорогу! Зачем и за чем? Этих вопросов, возможно, и не стояло перед поэтом, который весь растворялся в восторге перед новыми неосвоенными пространствами (“Какая радость, что меня // Опять услали в эти дали!”). Осваивает Горбовский всё, как и полагается поэту, — лирически.

Камчатка и Якутия, Волга и Лена, Литва и Узбекистан – всё становится “америками” его поэзии, всё входит в стих новыми красками и ритмами. “По рельсам вагоны уносит // какая-то жгучая страсть” – с таким чувством поэт раз за разом отправляется в очередное странствие. Но далеко не всегда дорога отзывается в стихах приподнятым романтическим эхом.

*Мне и страшно бывает, и тошно.
Ночью солнце глядит натужно.
Я иду по земле осторожно,
потому что мне это нужно.*

Здесь уже не просто “жгучая страсть” и не то чтобы даже радость – необходимость. Идти по земле. Вслушиваться и всматриваться в неё – во что бы то ни стало. Осторожно, бережно ступать. Не просто коллекционировать впечатления, но расширять горизонты своей души, своей поэзии. В этом – одно из свойств пути Горбовского. Не потому ли “дорожные” стихи поэта, при всём их проникновении в характеры различных далей и пространств, не становятся тем не менее чем-то самоценным, интересным, в первую очередь, отображённой в них образной “экзотикой”. В Лене Горбовского нет-нет да и заплещется родная Нева, во встреченной в экспедиции незнакомке проступают черты любимой, и всё чаще оглядывается поэт не по сторонам окружающего его мира, а – на себя самого, в свою душу. И потому особенно смешны ему рифмованные “отчёты” с творческих командировок иных стихотворцев:

*А иной поэт, как в анекдоте:
надоест бедняге дома врать,
пролетит над Чили в самолёте —
издаёт “Чилийскую тетрадь”.*

Нет, дорога для Горбовского – не просто дорога, но путь, движение судьбы, неумолчная тяга к горизонту... Нахождение себя – в пространстве и времени. Сам поэт выразился в стихах на этот счёт предельно лаконично – и с исчерпывающей откровенностью:

*Оттого-то и манит дорога,
что она — заменяет мне Бога.*

* * *

В 1966 году Горбовский относит стихи в “Лениздат”, где работал тогда ещё довольно молодой редактор и впоследствии – хороший друг Горбовского Борис Друян. Стихи собираются в книгу со скромным названием “Тишина”, которая выходит в 1968 году. Во внутренней рецензии на неё Вадим Шефнер со свойственной ему тёплой пристальностью писал:

“Глеб Горбовский – на мой взгляд – один из самых интересных поэтов, причём я имею в виду масштаб не ленинградский, а всесоюзный. <...> У него не просто талант, а то, что характеризуется старым русским словом – дар. <...> В каждом стихотворении Горбовского отражён миг жизни поэта – то грустный, то весёлый, то торопливый, то задумчивый. И ощущение этого мига передаётся читателю. Вот это умение передавать настроение, ощущение и есть самая важная и самая ценная черта в работе Горбовского...”

“Тишина” была самой характерной на тот момент книгой Горбовского уже хотя бы потому, что показывала его со всех сторон, целиком, во весь рост. В те годы поэт метался, душа его не находила себе места – в постоянных поисках, неурядицах, страстях. Оттого-то со многими светлыми и чистыми строками в книге соседствовали стихи мрачные, тяжёлые, как бы заштрихованные горечью – без малейшего просвета. (О трагической судьбе книги см. воспоминания Б. Друяна “Неостывшая память” “Нева”, № 3, 2004).

Можно цитировать навскидку – вот два характерных настроения в стихах, связанных как раз с тишиной. В одном из стихотворений читаем:

Хорошо, что есть мгновенья к тишине прикосновенья...

А вот строки из другого стихотворения в книге:

*Кричать, стонать, мяукать,
визжать и выть пилой,
сойти с ума от звуков,
но тишину — долой...*

Вот ещё несколько цитат — на этот раз связанных с любимым временем года всех поэтов (и Горбовского в том числе), с осенью, — расположенных в книге через одну или несколько страниц. На странице 20 — безвыходность и иступлённость:

*И землю буду я царапать,
и буду лунно... одинок.
А с неба будет осень капать,
чтоб я опомниться не мог.*

А уже на 22-й странице поэт светло выдыхает:

*Перемешан с листьями
снег — и всё плотней...
Шёл я, словно к пристани,
к осени моей.*

А после снова:

*Боюсь осенних помрачений,
когда вот-вот и грянет снег...*

Вот уж поистине, “осенние противоречия” (впоследствии Горбовский напишет стихотворение с таким названием).

Приведём ещё один пример из “Тишины” — строки в начале книги:

*Зажигаю я глаза —
два сигнала: осторожно!
Встречный, жми на тормоза,
потому что — всё возможно...*

В другом стихотворении поэт назовёт себя “злым, вечерним и одиноким человеком”.

А вот как он обращается к тому же “встречному” уже на последних страницах сборника:

*Остановись, идущий мимо,
и посмотри: не узнаёшь?..
...Остановись, давай закурим,
ведь мы не виделись века.*

И, кроме того, признаётся:

*Живу себе особняком,
смотрящим в небо островком...
Но боль другого островка
я обнимаю, как река.*

Та же “тишина”, те же “осень” и “снег”, тот же “встречный”-“островок”... Вот вам и “злой, вечерний и одинокий” поэт, умеющий, как никто, сострадать, помогать, утешить, согреть... К тому же не забудем и другие строки, также вошедшие в эту важнейшую для раннего Горбовского книгу:

*Какое счастье быть не пройденным,
а — возрождённым!
Чтоб весной
встать мудрой осенью
над родиной,
над всем святым
и над собой...*

Таким высказыванием поэт как бы провидел своё будущее возрождение, когда придёт пора “найти себя” и выбраться из-под руин прошлой жизни... И стихи эти во многом созвучны стихам Горбовского 70-х годов, когда он напишет о себе:

*Всё озарилось как бы внове,
и всё пронзило как бы вновь:
и нет ни жалоб, ни условий —
одна земля, одна любовь...*

* * *

Мало кто знает, что цитировавшееся выше стихотворение “В саду цветы полузавяли...” — первое, ещё прижизненное, посвящение Горбовского Николаю Рубцову. Приведём его полностью:

*В саду цветы полузавяли.
Ещё немного — и мертвы.
Меж туч светило, как в провале,
моей не греет головы.
Боюсь осенних помрачений,
когда вот-вот — и грянет снег...
Боюсь, как всякий злой, вечерний
и одинокий человек.*

Если Рубцов в посвящении другу (стихотворение “В гостях”) изобразил самого Горбовского, с содроганием нарисовав портрет поэта, который,

*Как волк, напьётся натошак.
И неподвижно, словно на портрете,
Всё тяжелей сидит на табурете,
И всё молчит, не двигаясь никак...*

— то Горбовский посвятил Рубцову своё стихотворение — как дарят фотографию на память. На фотографии — он сам, его душа и окружающее её пространство, его бесприютность, в чём-то, конечно, перекликающиеся с миром души Рубцова. Недаром Горбовский вспоминал впоследствии о “солидарности неприкаянных, причём неприкаянных сызмальства” — в отношении себя и Рубцова...

Говоря о посвящении Горбовского, нельзя не вспомнить и ответ Рубцова — переключку с этими стихами из “Тишины” рубцовских “Вечерних стихов”:

*Я не боюсь осенних помрачений!
Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле...*

Сколько свободного, вольно дышащего света в стихах Рубцова, и как мрачен, напряжён и сосредоточен пресловутый “лирический герой” Горбовского — а на деле, сам поэт в те годы.

... Когда Рубцов “с улыбкой утра на лице” пишет свои главные стихи, воспаряя всё выше — к любви и свету, Горбовский находится ещё во “мраке но-

чи”, где подстерегают его “осенние помрачения” и “гаснет, словно лампочка, улыбка”... Но вот прошли годы, развеялся мрак, и поэт уже восклицает:

*А ночь?.. Да разве тем до ночи,
кто — хоть однажды — видел свет?!*

Так да не так. Свет Горбовский видел и раньше, но лишь после того, как сошёл “мрак ночи” и “наступило озаренье” (сам он отражал в стихах все этапы своего пути, ни о чём не умалчивая) — лишь тогда поэт смог написать о себе:

*Найти себя не в годы странствий,
а лишь теперь — на склоне лет,
когда ветхо твоё убранство
и никаких иллюзий нет...*

“Склон лет” в разговоре о прожитых 40 годах звучит как будто несколько сомнительно, но вспомним строки из другого знакового стихотворения той поры:

*Сорок лет умчалось в вихре —
Остальное — разве жизнь?..*

Стихи эти — о том, как выбирается из-под обвала прожитой жизни человек, уже было сдавшийся поражению, примирившийся с собственным восклицанием: “Остальное — разве жизнь?..”

*И решил захлопнуть очи...
Только вижу: муравей!
Разгребает щель, хлопочет,
хоть засыпан до бровей.
Пашет носом, точно плугом,
лезет в камень, как сверло!
...Ах, ты, думаю, зверюга.
И — за ним.
И — повезло!*

Оказалось — не просто жизнь, но — начало её. Второе рождение, начало новой эры — в судьбе и в поэзии...

* * *

А теперь — несколько слов о пресловутом “конflikте двух Горбовских” — раннего и позднего. Сам конфликт этот — не более чем критический ярлычок, навешенный на поэта, неудобного для всякого рода идеологий, не втискивающегося в прокрустово ложе литературной политики какого бы то ни было времени: ещё вчера советской цензурой отметались ранние, дерзкие, “с лохматинкой” стихи поэта — а уже в 1990-х и далее — в новом веке только они, во главе с песней “Фонарики”, и признаются высшими достижениями поэта Глеба Горбовского, а всё остальное — “вписывалось в советский мейн-стрим”, а значит (по логике делящих) — не заслуживает особого внимания. Правда, корни такого “деления” Горбовского восходят ещё к 1970-м.

Началось, как видим, всё с того, что поэт выбрался из обвала, обрёл ясное направление пути, наконец справился с многолетней болезнью (к 1971 году): “...Когда в третий раз женился, остепенился и не пил спиртного девятнадцать лет и восемь месяцев. На удивление врагам и на радость близким”.

“Враги” эти и начали поговаривать о том, что, мол, сдулся Горбовский, усох, стихи без алкогольного заряда уже не те... Имена этих мелких дельцов от литературы — злопыхателей поэта, в большинстве своём бывших его приятелей-собутельников — не хочется здесь даже называть. Один из самых злостных завистников Горбовского — неудавшийся стихотворец, тоже из числа бывших приятелей, — так и писал:

“Русский поэт Глеб Горбовский незаметно скончался в конце 60-х годов XX-го столетия, но член Союза советских писателей Глеб Яковлевич Горбовский продолжает славное проживание в Ленинграде...”

Печально другое: подхватили эту, с позволения сказать, “точку зрения” (точнее – угол слепоты) некоторые талантливые люди, которые не захотели себя затруднять погружением в позднюю лирику Горбовского, вдумчивым прочтением её, а довольствовались тем, что налепили на него ярлык “усохшего поэта”, и теперь, после его смерти, пытаются свести всё творчество одного из крупнейших русских поэтов второй половины XX века к “Фонарикам” да к “Павильону “Пиво-Воды”...”

Сам поэт лишь однажды ответил на это, огрызнулся:

*Вам скучно, ангелы, со мною?
А вы бы к дьяволу пошли!*

Стихией Горбовского всю жизнь была лирика – в самом широком и глубоком понимании этого слова. Лирика “тихая” и не очень. В обойме “тихих лириков” Горбовский не прижился, как бы не уместившись в ней, с эстрадниками же ему было заведомо не по пути – все годы печатания поэт был сам по себе, не будучи фигурой “обзорной” ли, “групповой”. Затем, когда в чести оказались поэты “диссидентствующие” (взамен прежних “партийничающих”), Горбовский опять оказался не в “обойме”, в одиночестве.

“Урок одинокого самостояния Горбовского в нашей словесности ещё предстоит понять и усвоить”, – писал поэт Виктор Куллэ.

Стоит ли подчёркивать, что в “советских” книгах Горбовского не было ни грамма мертворождённой стиходельческой продукции, не говоря уж о фальшивых просоветских нотках? Возьмём, к примеру, книгу стихов “Черты лица” (1982), за которую поэт получил Государственную премию РСФСР (чего ему, конечно, не могли простить те самые “ангелы-шептуны”) и в которую, кстати говоря, был включён ряд стихов 50–60-х годов.

Несколько цитат из книги:

*...Всё тише сердца стуки.
Стою... Почти исчез...
Протягивая руки
за милостью небес.*

.....
*...Пусть любовь повсюду скажется:
на земле и на воде
поспеши на помощь каждому,
кто находится в беде.*

*Всё, что ты отдал воистину
от щедрот — не от ума,
в час верховный, в час единственный
возвратит Любовь сама.*

.....
*...И уже за горизонтом,
за чертой добра и зла,
улыбаюсь мыслям звонким,
что любовь изобрела:
не убий и не укради,
не прелюбы сотвори...
И встают, как крылья, сзади
две июньские зари!*

.....
*Как поздно я познал язык добра,
а ведь язык тот не был иностранным...*

.....
*...И видеть руку неба
в событии любом.*

Впору удивиться: пусть их и напечатали, но получить за такие истинно богодухновенные, открыто верующие стихи Государственную премию в советское время? Вспомним-ка, за что получали подобные знаки отличия иные писатели-стихотворцы. . . Достаточно просмотреть списки с именами лауреатов, а то и просто полюбопытствовать: что и за что получали те или иные известные личности, например, те же “шестидесятники”. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать формулировку, с какой получил один из них пусть ещё не Государственную премию (она была впереди), а только орден “Знак почёта” (1967):

“За заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся”.

Да, с такими формулировками Глеба Горбовского премировать было нечего – не за что. Впрочем, поменяем слово “коммунистическое” на “христианское, православное”, а “советской” на “русской” – и будет в самый раз.

3

Говоря о духовных исканиях поэта, о приходе его в лоно веры, нельзя пройти мимо книги-триптиха “Сорокоуст” (1991), состоящей из разделов: “Сегодня” (стихи 1986–1989), “Вчера” (1953–1981) и “Всегда” (1985–1989).

По одной этой книге можно в общих чертах проследить весь путь Горбовского – от дерзости, граничащей с кощунством, к смирению и просветлению. Главное в таком “переходе” – обретение веры, духовного взгляда на самого себя и всё вокруг. В этом, может быть, и проявляется высшая ответственность перед Словом (уже – с большой буквы).

Пушкин прошёл этот путь, условно, от кощунственной “Гавриилиады” до богодухновенного “Отцы-пустынники и жены непорочны..” А между этими далеко отстоящими друг от друга берегами полноценной пушкинской реки пролегли мостом строчки из “Воспоминания” (1828):

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Можно трактовать последнюю строку как утверждение верности себе: не смываю строк – то есть не отказываюсь от них. На поверхности тут и иной смысл: строки не “смываются” слезами, даже горячими слезами раскаяния. Таким образом, это также и своего рода лирический парафраз пословицы “что написано пером, не вырубишь топором”. Излишне напоминать, хотел ли “смыть” ту же “Гавриилиаду” Пушкин, как известно, до последнего отрицавший своё авторство этого богоульственного сочинения и вынужденно признавшийся в нём лишь в личном письме Государю.

Но вернёмся к “Сорокоусту”, в котором впервые были изданы многие “несмываемые” ранние стихи Глеба Горбовского – от легендарных “Фонариков” до знаменитой поэмы “Квартира № 6”. Редко когда краткая издательская аннотация столь ёмко и верно характеризовала саму суть книги:

“В книгу известного ленинградского поэта Глеба Горбовского включены стихи, написанные в последние годы, и стихи, долго ждавшие своего часа и наконец дождавшиеся его; одни служат своеобразным фундаментом для других, и все вместе представляют поэтическую личность Г. Горбовского во всей глубине и многогранности”.

По сути, читатель и критика впервые получали возможность сопоставить и сложить двух Горбовских, – раннего и позднего – в одну цельную поэтическую личность. Понять и осмыслить эту цельность смогли не все: слишком крепок оказался устоявшийся стереотип о “настоящем” раннем, непечатном Горбовском и – “плохом” позднем, успешном официальном поэте. Не будем лишний раз распространяться о том, какое торжество “лени и любопытства” стояло за этим расхожим мнением. Обратимся к самой книге.

К Богу Горбовский тянулся всегда – ещё в 1961 году он написал:

*Вот бы Бога, хоть немного,
хоть бы чуточку!*

Этим стихам (“Это песня, птичка-песня...”) нашлось место в разделе “Вчера”, а перед тем как обратиться к другому стихотворению из того же раздела, хочется привести слова стихотворца и собутыльника Горбовского Константина Кузьминского из его кустарно-доморощенной (содержащей тем не менее ряд интересных замечаний и наблюдений) многоотной антологии “У голубой лагуны”:

“... Несёт его (Горбовского. – К. Ш.) куда-то по течению строчек, удасться закончить, вывернуться, как в “Стихах о квартирной соседке”, – кончает, надоест писать – просто сводит на нет, как, допустим, “Стихи о скуке”. И претензий-то у меня к нему нет: уж больно это органично...”

Стихотворение “С гонорара” – пример такого “обрыва” в конце, неожиданного и яркого. Начинаются стихи с перечисления предполагаемых покупок:

*Накуплю вещей-предметов:
мягкогрудую тахту,
десять штук вождей-портретов,
что не дремлют на посту;
обрету бокалы-рюмки,
а в кредит — презерватив.
Государственные брюки
проявлю, как негатив...*

Далее поэт грозиться пропить “клад” (забыв уж и про “гонорар”), о котором было сказано:

*Где-то, скажем, на Урале —
мой, не найден, миллион...*

А вот последние строки – из разряда тех, что, по Горбовскому, “словом – как кулаком по морде”:

*И уже предельно ясно,
что такое в жизни Бог!*

Вот так – ни больше и ни меньше. Не забудем также расставлять даты, как это сделано в книге: стихотворение датируется 1963 годом, то есть написано через два года после приведённых выше строк, взыскующих Бога. Выходя за рамки книги, надо сказать и о том, что в 1967 году поэт напишет важное для себя стихотворение (которое позднее включит в итоговую книгу “Окаянная головушка” – в “белую сотню” избранных стихов):

*Из-под ног ушла дорога:
Невозможно жить без Бога...*

А ещё до этого, в 1964-м, уже были написаны стихи, вошедшие впоследствии и в “Сорокоуст”, и в “Окаянную головушку”, как одно из лучших и характернейших высказываний той поры. Приведём их целиком:

*Прожито больше половины...
Прочитан Кафка и Толстой.
И всё же нету сердцевины
во мне — во тьме полупустой.*

*Дорогой длиною исхлѣстан,
иду, ищу, а что найду?*

*Какая истина серьёзно
накинет на сердце узду?*

*Познать покой — подслушать Бога.
Но Бог распят во цвете лет.
И есть всего одна дорога,
что привела на этот свет.*

*Куда иду, чего хочу?
Зачем по жизни топочу?
Вот и пиши, что мир прекрасен,
когда он всё ещё неясен.*

В этом стихотворении — весь Горбовский, тот самый удивлённый “человек”, говорящий сам с собой напрямую, без обиняков; как никто умеющий и улыбнуться, и засомневаться, и задаться вопросом (в данном случае — целым рядом вопросов) и искренне не найти ответа. Поэт словно упёрся в тупик, поняв лишь, что “ничего не знает”. Куда делась былая уверенность, “предельная ясность” в понимании Бога и веры! Стоит обратить внимание и на то, что утверждения в стихотворении, чем дальше, становятся всё менее утвердительными, можно сказать, всё более *вопросительными*, между тем вопросы, наоборот, звучат всё *утвердительно* и *требовательнее*. Через несколько лет, как видим, поэт только и сделал, что решил для себя: “Невозможно жить без Бога”. Так как же —

Куда иду, чего хочу?

Вопросы вопросами, а надо же когда-то на них отвечать! Первыми ответами на них стали стихи 70-х годов: “Был обвал...”, “Человек состоялся на трудной земле...”, “Найти себя не в годы странствий...”, “Видеть небо”, “Быть”, “Рябило в глазах от мелькавшего хлама...”, “Проснулся и слышу в редяющей мгле...”, “Кому о радости поведать?..”, “Новизна” и др.

Чудо жизни человеческой — вот что отныне занимает Горбовского, столь небрежного на первых порах к факту своего земного существования, столь легко когда-то бросавшего на ветер вечности бездумные строки — вроде таких:

*Посему беру винтовку
и сверлю свою головку!*

Не то — в пору “нахождения себя”. Иные настроение господствуют в лирике поэта, иные мысли одолевают...

*Мы дети жизни — звучной, сочной.
Вся кровь и помыслы — о ней.*

Какое трепетное, почти молитвенное отношение к окружающей, волнующей, совершающейся на глазах Жизни запечатлено в таких, к примеру, строках поэта:

*Отныне будет солнцу не кивок,
а медленное, длинное моленье.
Уже любое утро, точно май.
Любая зорька — праздником зовётся.
Всё сочтено. Секунды не сломай.
Побереги...*

Вспомним, что это солнце в ранних стихах вставало с тем, чтобы “молиться человечеству”! Происходит невольное переосмысление, порой и мучительное переживание окружающего бытия — и “пересмотру” поэт подвергает, прежде всего, своё слово, самого себя, начиная с осознания своего предназначения на Земле:

*Зачем я родился? Отвечу, изволь.
Чтоб радовать Землю. Немалая роль.
Чтоб каждое утро, пока я иду,
столикую славить её красоту,
стозвонному горлу внимать... И чиста
любовь моя к ней — навсегда, навсегда!*

Широко и распахнуто звучат эти строки, словно хочет объять поэт дарованное ему пространство, родную землю, всю вместить её в слове своём — “будто кто-то из круга меня, из толпы // взял и вытолкнул в гулкое поле судьбы”.

Выше говорилось о пересмотре. Но и в ранних стихах, посвящённых любимой, было сказано:

*Буйным снегом вьюсь и падаю!
И всё радуюсь... И радую.*

Здесь видится неслучайным даже то вроде бы незначительное обстоятельство, что последняя строка записана именно так: с многоточием после возвратной формы глагола и твёрдой точкой в конце. Никакой неопределённости, расплывчатости, недосказанности — “радую”. И если в ранние годы поэт “проговаривался”, вроде и не задумываясь, в таких мелочах — то, “найдя себя”, заговорил в полный голос, со всей определённою высказав:

Чтоб радовать Землю...

И это — зрелый Горбовский, иными словами — уже окончательно сформировавшийся Горбовский ранний: не просто стихийно талантливый самородок, поигрывающий, что мышцами, налитыми образами и созвучиями, но мудрый, просветлённый художник, познавший “язык добра”, возжелавший “видеть небо”, а увидев, давший себе зарок — “видеть руку неба в событии любом”...

*И разве смерть придёт в награду
за нашу веру — разве смерть?!*

— вопрошает поэт, и как непохож этот возглас на былые вопросы сомневающегося и ищущего Горбовского. Неслучайно в те же годы он благодарно выдохнул:

*Всё было, всё было...
И вдруг осенило:
есть высшая доля!
Есть высшая сила!*

* * *

А вот как откликаются “вчерашие” искания и вопросы в “Сорокоусте” — в третьем разделе “Всегда”:

*Ещё меня трогают взоры иные,
но я в них читаю права неземные.
Ещё меня манят в просторы тропинки,
но что они знают — пески и суглинки?*

*И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу единственный Путь.*

Глеб Горышин в рецензии на книгу (“Сегодня. Вчера. Всегда” — “Наш современник”, №10, 1991) писал:

“Новая книга — “Сорокоуст” — даёт возможность приобщиться к внутренней судьбе поэта — драматичной, импульсивной, исполненной борения

с бесовством во всех его видах – и в итоге – к мудрости смирения перед тем, что превыше гордыни”.

Поэт наконец нашёл опору душе своей – сиротиночке, войной обожжённой, а затем и безбожием эпохальным возвращённой... Сколько лет уже душа его “тоскует о живом”! Стихотворение “Раб Божий” оканчивается такими строками:

*Жаль сиротку, жаль былинку,
жаль себя (ведь он — во мне!),
землю жаль, народ былинный,
робкий свет в его окне.*

Напряжённый и стремительный хорей, казалось бы, малоподходящий для размышлений о Боге и вере, тем не менее не единожды возникает в стихах этого периода:

*Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?..*

Как? – в поисках ответа на этот венчающий все былые сомнения вопрос поэт обращается к Слову Божьему, Библии и Священному Писанию. Быть может, на этом пути у Горбовского было меньше поэтических удач – некоторые его строки почти буквально повторяют библейские положения, не высветляя их нежданной искрой вдохновения:

*Гласит божественная лира,
нас уводя от суеты:
не сотвори себе кумира,
не искази Творца черты,
уйми гордыню...*

Это уже не похоже на прежние императивы, пронизанные богатством интонации поэта: “Секунды не сломай...”, “Глотай с улыбкой лютый воздух”, “Блюди восторг...”. Но Горбовскому были необходимы эти вроде бы наивные “повторения” стихов Библии, попытка зарифмовать библейские истины, связав их таким образом накрепко с собой, со своей душой. Именно так, посредством сложения стихов, поэт “одомашнивал” христианские идеи, вдали от которых жил все годы и к которым теперь пришёл, как герой его же позднего стихотворения – Ванюша, что приходил к монахам и, “помолясь единым махом, // бубнил чуть слышно: “Исть хочю!” Это крестьянское “исть” (“есть”) в устах ребёнка звуково, ассоциативно несёт в себе и “истину” – вот чего хочет сам Горбовский, вот чего взыскует его “голодный дух”:

*Лампада над книгой потухла,
а строчки в глазах всё ясней:
“Блаженны голодные духом,
взалкавшие правды Моей!”*

В какой-то мере такие стихотворения были написаны для себя и только для себя. Но публикация их даёт возможность проследить путь самого поэта, увидеть, чем он жил и болел, чем лечил свою душу в годы написания стихов, которые сложились затем в очередную книгу. Книгу, явившуюся одной из важнейших вех его пути. Неслучайно признание: “Я пережил себя в себе”... Пережил, перерос, – словом, “найдя себя” в 70-х, поэту было нужно “пережить себя в себе” уже в более поздние годы. “Одомашненные” же истины, пройдя переплавку в поэтическом хозяйстве Горбовского и более не выпирая в стихе отдельными цитатами, очень скоро стали органичными чертами его лирики, постоянным духовным фоном её.

Некоторые стихи из третьего раздела “Сорокоуста” предваряются эпиграфами из русских религиозных мыслителей и философов: Николая Фёдорова, Павла Флоренского, Василия Розанова... Поэт по своему обыкновению ищет “сердечное слово”, но теперь уже — проникнутое светом Веры.

*Блажен, кто верит в “небылицы” —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: “Я — вернусь!”*

*Кто чрез смертельные границы
плывёт, как журавлиный клик...
С чьей опалённой плащаницы
к нам проступает Божий лик.*

И вот уже всё окружающее предстаёт для поэта не просто явлением Жизни, но — Божьим даром, “свет негромкий” креста на маковке церкви “неразлучен с небесным светом”; в возникшем неведомо откуда “беспризорном черепе” Горбовский видит не уродство смерти, но “оплот души живой”, в котором “вера тлела” и “жар божественный угас”. А вот и снег... Сколько раз видел его поэт, не раз писал о нём, но, пожалуй, никогда ещё не звучало слово его столь глубоко и просветлённо:

*Присутствую при снегопаде —
последнем, может быть, в судьбе.
Не отвлекайте, Бога ради,
забыть позвольте о себе.*

*Ловлю холодную снежинку
горячим выступом губы.
Слежу зигзаги и ужимки
венозно вздувшейся тропы.*

*Очаровательное иго —
снеговращенья краткий срок...
Читаю небо, точно книгу,
и Божью милость — между строк.*

Здесь всё: и восторг перед жизнью, и “венозно вздувшаяся тропа” было-го, и главное — наконец-то, сквозь все “зигзаги и ужимки”, открылась поэту Божья милость во всём, что его окружает. Заметен тут и другой, как будто не слишком характерный для Горбовского мотив: из стихотворения в стихотворение поэт стремится “забыть о себе”. Что это — попытка предать забвению своё прошлое? Уйти от себя? Или раствориться в окружающем богоданном мире, чтобы разглядеть как можно лучше “каждую малость земную”? Вероятнее всего — последнее.

*Не отвлекайте, Бога ради,
забыть позвольте о себе...*

Нужно “забыть о себе”, уйти в созерцание снегопада — врати в него глазами души, дабы суметь прочесть “небо, точно книгу”. Если вспомнить, что ранее поэт познал “язык добра”, то можно сказать, что теперь он овладел его грамотой, научился читать — во всём прекрасном и простом разбирая “Божью милость — между строк”.

* * *

Мотив “забывания о себе”, как уже было отмечено, нашёл отражение во многих строках раздела “Всегда”:

*И я забыл внезапно о себе,
Всего на миг... Но сколько я увидел
прекрасных лиц на жизненной тропе,
благих сердец...*

Итак, “забыть о себе”, благодарно раствориться в людях и природе. Но у всего есть обратная сторона:

*Улица. Слякоть. Рассветная дымка.
Люди теснят и толкают меня.
Словно для них я теперь — невидимка,
жар потаённый без дыма-огня,
голос прозрачный, сосуд опустевший,
мыльный пузырь или просто душа,
что отделилась от жизни сгоревшей
и продолжает свой путь не спеша...*

Зная стихи Горбовского 50–70-х гг., невозможно не удивиться: кем-кем, а невидимкой себя поэт не ощущал никогда. Так в чём же дело? Слово “невидимка” не раз появляется в третьем разделе “Сорокоуста”.

*Душа тоскует о живом —
не осуждайте невидимку...*

Так, протягивая нить к “переживанию себя в себе”, Горбовский пишет:

*Не я ли сам — песчинка в снах горы —
себя в себе захлопнул до поры?*

Сперва — “пережить”, затем — “захлопнуть”. . . Подобное “захлопывание”, даже если и поможет в чём-то человеку, способно нанести тем не менее удар по поэту. Горбовский это понимал и искал выход.

*Весь мир новизной голубую
пронизан! Былое — зола.
Я вижу себя — под собою —
идущим из прошлого зла.*

Не “захлопнуть” себя, не просто “забыть о себе”, но — идти вперёд, к свету и новизне — той новизне, о которой было сказано ранее:

*Ну, а в чём новизна?
В осушении слёз.
В согревании зябких сердец (не желёз).
В подношенье цветов. В погашенье обид.
В утоленье всего, что болит и скорбит.
...Вот она — пресвятая во все времена,
возносящая к истине нас
новизна!*

Дорога теперь уже не “заменяет” Бога, как раньше, но — ведёт к Нему. “А боль, а шрамы... Это между нами” — доверительно исповедовался в стихе когда-то молодой Горбовский. Нет, он не забыл, как “знобило, коверкало, гнуло, ломало”, как вырывался из души крик: “Я весь измученный собой!”... Но —

*Теперь это всё — подо мною.
И я, как исчадие зла,
иду над собой — новизною, —
как будто по глади стекла.*

Как и у всякого большого поэта, дарования живого и текучего, многое в поэзии Горбовского менялось, что-то отходило на второй план, какие-то мотивы, наоборот, чем дальше, тем явственнее ощущались в стихах с годами, но с полной уверенностью можно сказать одно: не “отмирало”, не уходило безвозвратно из стихов Горбовского ничто. Под спудом или нет, в большей или меньшей степени, но теплились и в раннем Горбовском как тема Родины, её истории и судьбы, бытия своего народа, так и – молитвенный строй стиха, покаянное слово – нет-нет да и срывалось оно с уст “Глебушки грешного”... И наоборот: в строках позднего, зрелого Горбовского, пришедшего к мудрости смирения и, наконец, извилистой дорожкой – ко Господу, – даже в самые светлые, отмеченные молитвенным звучанием стиха 1980-е годы нередко звучит “старенький мотив”. Вот как он говорит о себе – и не в 1950-е – в самое что ни на есть своё “умиротворённое” время:

*Диковат. Свистопляской влеком.
Не кентавром рождён, не ублюдком —
гривоструйным сквозным степняком
на пространстве жестоком и жутком.
Глаз глядит бесновато и вкось...*

А вот ещё стихотворение середины 80-х, которое, напечатай поэт его среди стихов конца 50-х – начала 60-х годов, смотрелось бы как одно из характернейших произведений раннего периода:

*Добро и зло на коромысле
несу из пережитой мглы.
О разум, вздрогнувший от мысли,
как будто мышца — от иглы!*

*Как два ведра... Не расплескать бы,
не причинить бы перевес,
не пошатнуть бы смерти, свадьбы,
не брызнуть хаоса в прогресс.*

Стихи такого звучания рождались во все десятилетия – вплоть до нового века. И не зря Горбовского называли одним из самых отчаянных поэтов своего времени. Многие его ранние стихи написаны как бы “на грани”, на пределе:

*...Лишь бы сердце чем-нибудь унять,
в каменную ночь... не застрелиться.*

.....
*...Вот и я выхожу. После дня.
Как же долго казнили меня!..*

.....
*...Я весь измученный собой!
Вот я, передо мною водка.
И взгляд любимой, точно плётка.*

Возникал и как бы взгляд со стороны, и домысливался поэтом “сюжет” отчаяния:

*Человек застрелился. В плаще и в очках.
Он лежит у палатки на хвойной постели.
Переваривал пищу, стоял на ногах,
и никто не заметил, что он на пределе...*

Но всё это было не только в ранний период. Если в 60-х Горбовский писал о душе, которая “пуста, как высохшая лужа”, то в уже просветлённых 70-х

поочерёдно возникают в стихах состояния “землетрясения” и “остекленения” души. Всё тяжелее становится поэту ощущать себя в одиночестве (одиночество — в себе). Много позже Горбовский свыкнется, чуть ли не сдружится с таким своим состоянием, задумает даже “воспеть одиночества страсть”. Но это после, а пока стихи вибрируют, бьются, словно просят о помощи, посылая сигналы “SOS”:

*Вымирает радость в мире...
Из-под лавки достаю
двухпудовку, то есть гирю,
и с размаха — в стену бью!..
...Позвонить? Ответят: “Ждите”.
Жду. Молчание в висок.
Приходите... Помогите...
улыбнуться... хоть разок.*

Стихи 1981 года. Как тут не вспомнить раннее: “Страшней всего — остаться одному. // Таскать по свету душу, как суму...” Но уже с этого времени, как мы могли видеть, поэт чем дальше, тем всё больше светлел и отогревался душой, и хоть были шараханья из стороны в сторону, хоть и срывался порою голос в крик, но никогда уже “восторг благоговейный в душе просвеченной не гас”. Не гас — вплоть до 1991 года, до времени “разрухи в судьбе и в стране”, когда переживший всенародное бедствие войны Горбовский с новой силой и свежей болью почувствовал:

В слезах России есть и наши слёзы...

4

Ещё в середине 70-х, в период “моления солнцу” Глеб Горбовский сказал о том,

*Что вера — иными словами — свобода
и мне иногда напевала свой гимн!*

“Свобода” — не слово, а понятие — едва ли не впервые появилась в стихах Горбовского и сразу обосновалась в новой системе координат поэта, уже “нашедшего себя”: творчество — вера — свобода. Вера и свобода слились воедино. Не о том ли говорил поэт в своей книге-исповеди “Остывшие следы”: “Вырваться из одиночества можно только — идя к Богу. Точнее — придя к Нему...” Выше говорилось об одиночестве и о борьбе поэта с ним в разные периоды своего творчества. Окончательно же сломить натиск одиночества Горбовскому удалось, придя к Богу, — в том и была истинная свобода, та, о которой сказано в первом послании апостола Петра: “. . . Делая добро < . . . > как свободные, не как употребляющие свободу как прикрытие зла, но как рабы Божии” (гл. 2, ст. 15-16).

*Не вижу причин для расстройств,
коль скоро мне в душу хитро
вмонтировал кто-то устройство,
способное делать добро.*

“А кто? А кто велел? Да кто-то...” — сказано в другом стихотворении по иному поводу, но неизменным оставалось одно: “Кто-то” в стихах Горбовского всегда — носитель божественного света и Высшей воли, если не сам источник её.

“Порою и мне напевала свой гимн” — легко и непринуждённо сказано о свободе-вере в 70-х. Но куда более определённо и явственно мотив обретения Свободы в Боге зазвучал позже:

*...как прорицатель — сквозь года
провидит нечто, как сквозь воду,*

*так я — чрез Истину Христа —
уже предчувствую Свободу!*

Эти вдохновенные строки венчали стихотворение “Предчувствие” (1989), органично примыкающее по своему звучанию к разделу “Всегда” книги “Сорокоуст”. Но стихи эти ждали своего часа, чтобы через десятилетие войти в итоговый сборник поэта “Окаянная головушка” (1999) — как последний всплеск горячей молитвы перед погружением в тягостный смрад наступающей “гнилой эпохи”, где бывшие светлые слова оказались продукты “ветрами перемен”... Предчувствуя Свободу с большой буквы, поэт оказался среди “свобод” во множественном числе — ощутив пропасть между ними сразу и бесповоротно:

*Ах, вам ли не знать, сатанинские дети,
что чадо свободы зачато в запрете.
Что пути свободы и цепи тюрьмы
извечно — одной — порождение тьмы.*

*Все ваши призывы не глубже могилы.
Лишь в гордом смирении черпаю силы,
не в ваших свободах, чьё имя тщета, —
в пресветлой, предсмертной улыбке Христа.*

Так Горбовский писал в стихотворении 1991 года, эпиграфом к которому служил не требующий комментариев лозунг: “Свобода, равенство, братство...” Ещё раньше поэтом были сказаны слова о “самом разрушительном событии всечеловеческой истории, предопределившем неисчислимо количество невинных жертв”, — таким событием была названа Великая Французская революция...

* * *

А меж тем “свободы” новоявленной эпохи наступали со всех сторон. В 1996 году Горбовский пишет ещё один ответ на вызовы “свободного” времени — стихотворение “Свобода личности”:

*За что любил тебя, “свобода”?
За пыл разнузданный внутри?
За строчки, дьяволу в угоду?
За пьяных улиц фонари?*

*Да и была ли ты, химера?!
Свобода — в горней высоте.
Не там, где сердце жаждет веры,
а чуть повыше — на кресте!*

*Прощай, обман. Изыди в люди.
А от меня — сокройся с глаз.
Во мне — тюрьма. Я сам, по сути,
себя — не спас.*

В этом небольшом стихотворении в сжатом виде нашёл отражение едва ли не весь путь Горбовского: здесь и ранние безбашенные стихи (“Строчки, дьяволу в угоду”), и позднее понимание свободы как веры (“Свобода — в горней высоте”), и, наконец, последнее: “Во мне — тюрьма”. Но что это? Ведь нашёл же поэт выход, “вырвался из одиночества”, предчувствуя подлинную, единственную (в единственном числе) Свободу! Как же вновь он оказался в самом себе, как в тюрьме?.. Так в наступившие новые времена свобода-вера в душе поэта уступила место свободе-тюрьме. Особенно горько звучат строки, написанные всего через несколько лет после грандиозного “Предчувствия”:

*И воспринята жизнь — как тюрьма.
А свобода... Ничто и нигде.*

Тюрьма, яма, дно, наконец — ад... Эти образы-явления в стихах Горбовского 90-х нередки. Ещё в начале “разрухи”, в 1992 году, поэт высказался предельно лаконично и доходчиво:

*А... запил почему?
А треснула душа.
От боли за страну,
от холода невзгод.
Вот и пошёл ко дну,
как старый пароход...*

“Я себя извлекаю из ямы” — сказано в другом стихотворении (“Как попал я туда? Добровольно. // Просто рухнул от сущего — в тень”). И при этом — находясь в этой “яме”, будучи на “дне”, поэт возносит к небу молитву о спасении своей “оболганной”, “распятой” Родины:

*Спаси, Господь, мою Россию,
не зачеркни Ея судьбы...*

Кругом царит “продувная эпоха”. “Снег за окном какой-то страшный...” Но то — за окном. Само же окно зарешечено, и по эту его сторону, если взглянуть, не менее страшно, чем по ту...

*Зарешечённое окно,
Но это — не тюрьма.
И днём, и ночью в нём темно
и призрачно весьма.*

*Таятся призраки в окне:
заложница — княжна,
крестьянин в дивном зипуне,
кащеева казна;
в Че-Ка казнённый дворянин,
истерзанный поэт,
распятый царь и сукин сын, —
чего там только нет!..*

Вот каково оно — это “окно в забытую страну с названием кротким — Русь”. “Краткое”, по Есенину, название страны — “шестой части земли” — уменьшившись до одной девятой, стало “кротким” у Горбовского; впрочем, дело тут, разумеется не в географических измерениях и масштабах, но — в разной “мировоззренческой почве под ногами” двух поэтов. “Кроткая” Русь, по Горбовскому, — “далеко не храм”, хотя и само это отрицание как бы отталкивается от возможности обратного:

*Снаружи — храм. Хотя и без креста.
Внутри, как в черепе, зияет пустота...
...Не запустенье ощутила грудь,
но отвращенье! Как сюда вернуть
любовь и святость? Как избыть позор?
Чтоб просиял народа мутный взор!..*

Вопросы в процитированных строках перекликаются с более давними сомнениями: “...А как же нам под щемящий голос вьюги строить в сердце Божий храм?” —

*Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе...*

И всё же: “Снаружи — храм. Хотя и без креста. Внутри — Россия, в ожидании Христа”. Знать, не “забыла”, если — ждёт. Но в течение ожидания “происходят катаклизмы”, и вот уже появляется новый образ России — жуткого барака, “где вечный тарарам, и стыд, и срам, разборки в гнусном виде...”

*Там лень работать и мириться лень,
а помолиться — бомбой не заставишь.
Спокон веков кулак или кистень —
оружье духа! В душах — скукота лишь.
Лежать на нарах, дьяволу кадить,
проигрывать друг другу в карты...
При жизни в преисподню угодить!
Когда, о, Русь, отклеишься от нар ты?..*

Страшный образ, ткущийся из гнущих инфинитивов, — здесь нет чьего-либо конкретного живого действия, но лишь — общая, распространяющаяся на всех форма существования: с волками жить — по-волчьи выть.

“А что народ? Сыны Отчизны?” — спросим вслед за поэтом, имея в виду в первую очередь его самого. И ощутим разворачивающуюся на страницах стихов 1990-х гг. незримую напряжённую борьбу — борьбу за него, за его душу. “Добро и зло на коромысле”, которые ещё недавно, боясь “расплескать”, нёс поэт, теперь, кажется, выплеснулись до дна, представ в своих “крайних” воплощениях: Бога и дьявола.

“Хранит Господь, а дьявол жалит”, — начинает Горбовский одно из стихотворений той поры, и противопоставление это не случайное и вовсе не сиюминутное, как может показаться на первый взгляд. Стоит тут также отметить, что именно в 90-х в стихах Горбовского появляются бесы — и это уже не “зелёные бесенята” из ранних стихов. Пускай поначалу разница не видна — так, в стихотворении 1991 года мелькает “в сорок градусов бесёнок”, появление которого, как и проделки бесенят из ранних стихов, пояснений не требует. Но уже иное дело — сценка из стихов 1992 года:

*Входят двое. Один румяный,
светлый, ясный. Другой — туманный.
Солнца лучик и отблеск лунный.
Нежный некто и мрак чугунный.
...Бес и ангел. Пришли и сели...*

Это уже что-то новенькое: уж не “бес” ли из ранних стихов, а “ангел” — из поздних? “Пришли и сели” — в самом поэте. И, показавшись ему сперва “разной масти, но общей сути”, впоследствии выкристаллизовались и стали в его поэзии теми двумя полюсами, добром и злом, что ведут свой извечный бой за душу живую...

И уже являются поэту видения, где наблюдает он себя в плену постоянного соблазна и искушения — вот он, манящий, сладко “жалящий” дьявол:

*Там, на скамье среди стволов —
моя бездомная фигурка.
А возле — дьявол-сердцелов,
дымок с отвисшего окурка.*

*Он шепчет сникшему слова,
что всё на свете поправимо:
вставай, иди, качай права,
не проноси стаканчик мимо!*

К счастью, одно видение сменяется другим, и в пределах одного стихотворения показаны обе силы:

*Но ангел огненным крылом
взмахнёт — и нету наважденья!*

Но как же “дьявол-сердцелов” похож на кричащих о свободах “сатанинских детей”: “качай права” – вот, по Горбовскому, дьявольский лозунг всех новых новых свобод...

*Всё это бесы, бесы, бесы...
На них ли сердцу уповать?*

Как раньше душа поэта “тосковала о живом”, так и теперь сердце его ищет опоры и утешения. И поначалу находит оно их – в царе. В идее царя, помазанника Божьего, наместника Бога на земле.

*Вновь отпылала заря.
Смутному голосу внемлю:
“Боже, верни нам царя,
выручи русскую землю!”*

Справедливо казнясь, вспоминая о совершённом в 1918 году преступлении и по-своему объясняя им новые беды, настигшие страну (“... За что нам выпал жребий сей? // За то, что в грязь, к ногам марксистов // упал царевич Алексей”), Горбовский при этом словно бы несколько заикливается на теме царя – ненадолго, впрочем. “России нельзя без царя” – такой мотив звучал в лирике поэта начала 90-х, но уже через несколько лет в стихотворении “На склоне лет – а значит, зря...” он поспорит сам с собой, придя к неутешительным выводам:

*Не до царя на склоне лет,
не до особы...
Мне до себя-то дела нет,
не токмо чтобы...
В стране, где всяк — и скот, и тварь,
и волком воет,
всегда найдётся государь,
а то — и двое...*

“Но только мне сия печаль // уже – до фени”, – заканчивает Горбовский свой досадливый монолог, как бы зачёркивая этим бывшие чистые, но наивные упования и воззвания.

“На что уповать?” – этот вопрос волновал поэта ещё в 70-х, когда он и написал одноимённое стихотворение. Но если тогда оставшийся без ответа вопрос понемногу смывало с души течением любви –

*Ты смотришь большими, как завтра, глазами,
укрыв моё сердце в своём... И плевать,
что мне по дороге к тебе не сказали,
на что уповать...*

– то теперь, во время “разрухи в судьбе и стране”, на ветрах “продувной эпохи” вопрос этот становится для Горбовского куда более животрепещущим, а ответ на него – всё чаемее и необходимее. И на этом крутом вираже пути поэта главным и единственным упованием, как и прежде, стала – Вера, та высшая вера-свобода, к которой он приобщился, выбравшись когда-то из-под обвала ночи, выйдя к свету. Вторично обрёл себя во свете веры поэт уже “во дни утрат, усилий ложных” – в тяжелейшее для себя и для своей страны время. Предстояло – восстать из очередного пепла, воскреснуть.

*Отверстые двери вчерашнего склада.
Внутри пред иконой мерцает лампада.
Ещё в этом складе — и сыро, и душно,
но можно затеплить свечу, если нужно.
Ещё здесь прохладно, как в затхлой пещере,
но можно уже отдышаться — и верить!
Пусть пахнет мышами и прелой картошкой,
но можно уже начинать понемножку*

*любить, и прощать, и терпеть, и дарить —
к воскресшему храму дорогу торить.*

Поэт сам словно стал “воскресающим храмом” — бывший многие годы вместилищем всё новых нечистот, щедро подкидываемых в него то одной, то другой эпохой...

*Мы пропитались временами,
от коих в сердце — смрад и гной.
И плачут ангелы над нами,
а Бог — обходит стороной...*

— так писал Горбовский в начале 1990-х, когда всё гуще обступали горечь, недовольство, гнев — и брезжила впереди пугающая неизвестность... Но Бог — не обошёл стороной, вселив в душу надежду на грядущее исцеление:

*И пусть над нами бездыханный храм,
в глазницах окон — вороньё и ветер...
Горит свеча! А стало быть, и там,
в стране моей, где потрудился Хам, —
Любовь и Мир взбрезжат на рассвете!*

* * *

“...Я вернулся к активному творчеству и вере в Бога, — уже в новом веке писал поэт, добавляя: — И потому, наверное, жив до сих пор”.

*Мне теперь предельно ясно:
жизнь моя была прекрасна!*

— с такими словами входит Глеб Горбовский в новое столетие.

И теперь уже движение души поэта, взора его — устремлено не вширь, но вглубь:

*Глубь — в наших душах, в мыслящих сердцах.
В глубь уходя, нам не топтать дорогу,
не погонять лошадок в бубенцах,
а — слушать Бога... И — учиться Богу!*

“Учиться Богу” — основной завет и главный зарок, данный поэтом самому себе, а значит — и всем своим читателям. Учиться Богу — значит учиться языку добра, учиться читать небо и землю, точно книгу, учиться воспарять над мглой и теменью сегодняшнего дня, предчувствуя Свободу — единственную, с большой буквы. Свобода, Вера, Мир, Любовь, Родина — ряд слов-бездн, сакральных слов-понятий, которые, лиши их изначальной большой буквы, так легко подменить, оболгать и опошлить, а затем и вовсе “разочароваться” в них, как в чём-то пафосно-пустом. О, как отшатывалась от этих слов, от содержащийся в них сути — поэзия “советская” и “антисоветская”, партийно-идеологического и диссидентского толков. И как затем великие эти слова в устах иных сочинителей и идеологов становились то разменной монетой, то “ходовым товаром”, то тем и другим — одновременно... Поэзия Глеба Горбовского в самые тяжёлые годы поднимала каждое из этих слов со дна времени, куда они были заброшены, оплёванные и, казалось, обесцененные навсегда. Слово поэта, глубокое и светлое, вдохнуло в них новую жизнь — напитавшись ими в ответ. “Но вряд ли святое пожрёт Асмодей” — уверен поэт, ни на минуту не допускающий победы тьмы над светом, зла — над добром. “Учиться Богу” — учиться Любви и Вере, учиться Родине и Свободе. Высшая доля и Высшая Сила оказываются нераздельны, сходясь на вершине Слова. Просветлённая мудрость эта оплачена огромным путём Глеба Горбовского, который он прошёл, “опираясь не на трость и деньги — // на свечу, зажатую в руке”.